

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН



ПОКА ВРЕМЯ НАС ПОМНИТ

◆ КНИГА ПЕРВАЯ ◆

Если НЕ ВЕРНУСЬ

ДВА ВРЕМЕНИ.
ОДНА ЛЮБОВЬ.
ВЫБОР,
КОТОРЫЙ
МЕНЯЕТ
ВСЁ.



Александр Ладогин

Если я не вернусь

<https://litres.ru/74689743>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она знает дату его казни. Но ещё не знает, что полюбит его.

2014 год. Двдцатиднолетня Дарья Соколова приезжает на экскурсию в крепость Орешек. Неосторожный шаг, падение в ледяную воду — и девушка оказывается на 250 лет в прошлом, в Российской империи времён Екатерины II.

Без документов, денег и возможности связаться с близкими она пытается выжить в чужом мире. Её первым защитником становится молодой офицер Василий Мирович. Дарья узнаёт его имя: совсем недавно она читала о нём на музейном стенде.

Она знает, что вскоре он попытается освободить самого таинственного узника империи. Знает и то, чем закончится эта попытка.

Но можно ли спокойно наблюдать, как человек идёт навстречу гибели, если он становится тебе дороже собственной жизни?

Удастся ли Дарье изменить историю? И какую цену придётся заплатить за попытку спасти того, кого она полюбила?

Первая книга серии «Пока время нас помнит».

Содержание

Глава первая. Не лезь к воде	4
Глава вторая. Пятница	25
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Если я не вернусь

Глава первая. Не лезь к воде



I

Санкт-Петербург, Петроградская сторона. 8 июня 2014 года, воскресенье.

В семье Соколовых Троицу узнавали по запаху.

Мама приносила берёзовые ветки ещё накануне, ставила их в трёхлитровую банку из-под огурцов, и к утру вся квартира на Большой Пушкарской пахла не двором-колодцем с

мусорными баками и чужим «Солярисом», а дачей под Лугой. Ветки дожидались на кухонном подоконнике, листья у них были мелкие, клейкие, совсем новые, и Дарья, проходя мимо с кружкой, машинально тронула один пальцем. Палец прилип.

— Не трогай, – бросила мама, не оборачиваясь. – Это в собор.

Мама хлопотала у плиты в нарядной блузке и в фартуке поверх неё, и в этом была вся мама: собираться на праздничную службу и одновременно жарить сырники на всю семью.

— Ты точно не пойдёшь? – спросила она.

— Мам. Я в четверг диплом защитила. Мне можно один день прожить без людей?

— Там никто никому не мешает.

— В соборе люди стоят очень близко.

Мама вздохнула так, как вздыхают учительницы музыки, когда ученик в третий раз спотыкается на одном такте: без упрёка, но с глубоким знанием человеческой природы. Сырник на сковороде перевернулся сам, от одного этого вздоха.

Дарья села у окна, подальше от веток, и поставила кружку на клеёнку. Двор внизу был ещё серый: солнце добиралось до дна колодца только к одиннадцати. Из соседней парадной вышла женщина с таксой, такса оценила небо и решила, что гулять не будет. Женщина с ней спорила.

На столе лежал телефон. Дарья открыла заметки и ещё раз перечитала свой план, написанный в пятницу ночью, когда

после выпускного у неё гудела голова и хотелось чего-то правильного: «Воскресенье. Орешек. Одна. Без наушников хотя бы час. Не проверять почту бюро». Последний пункт был зачёркнут и написан снова.

Переводческое бюро на Васильевском ждало её с первого августа. Это было хорошее бюро, с окнами на Средний проспект, с кофемашиной, которой там гордились больше, чем клиентами, и с начальницей, которая на собеседовании сказала: «У вас немецкий слишком живой для договоров, но мы это вылечим». Дарья тогда засмеялась, а потом весь вечер думала, комплимент это или диагноз.

— Даш, а ты одна поедешь? – спросила мама.

— Ленка не может.

— Почему?

— У Ленки любовь. Со вчерашнего вечера.

Мама выключила газ и обернулась.

— Это надолго?

— До вторника точно.

— Ну хоть так. – Мама поставила перед ней тарелку и села напротив, хотя ей уже пора было выходить. – Как ты поедешь?

— На метро до «Дыбенко», оттуда автобус. Там час. Потом катер на остров.

Мама ничего не ответила. По её лицу было ясно: дочь собралась на остров вплавь, с ножом в зубах. У мамы с водой были свои отношения. В детстве она тонула в Вуоксе, её вы-

ташил дед за волосы, и с тех пор вода для неё делилась на две категории: в ванной и опасная.

— Мам, там туристы. Пенсионеры с внуками ездят. Это музей.

— Сфотографируй мне что-нибудь интересное, – попросила мама. – Не стены. Стены я в интернете видела. Что-нибудь такое, чего там нет.

— Это как?

— Ты умная, придумаешь. – Мама встала, сняла фартук, взяла из банки три ветки и встряхнула их над раковиной. – И не лезь к воде.

Она сказала это легко, в дверях, уже думая о другом: о том, успеет ли к началу, о том, что у неё в сумке нет платка. Дарья кивнула в спину и даже не подняла головы от тарелки.

Через минуту хлопнула дверь, и в квартире стало тихо той особой воскресной тишиной, в которой слышно, как в маленькой комнате спит папа.

Папа спал после ночной смены. Он работал в Мостотресте, и с апреля по ноябрь его жизнь шла задом наперёд: город ложился, а папа ехал на Троицкий мост, чтобы в половине второго ночи развести его перед баржами, а потом в пять утра свести обратно. На вопросы знакомых, кем он работает, папа отвечал: «Я закрываю город на ночь». Звучало загадочно, и папа это знал.

«На Троицу папа спит после Троицкого». Это надо было записать. Заметок про папу у неё в телефоне набралось уже

штук сто.

В коридоре зашлёпали босые ноги.

Мишка вошёл на кухню в футболке сборной, которую ему купили на вырост ещё в мае, и она висела на нём до колен, как ночная рубашка. Мишке было двенадцать, и до чемпионата мира оставалось четыре дня. Последние две недели он жил только этим: клеил наклейки в альбом, менялся дублями во дворе с таким лицом, будто торгует акциями, и знал состав сборной Бельгии лучше, чем таблицу умножения.

— Ты уезжаешь, – объявил он вместо «доброе утро».

— Через полчаса.

— А телефон?

— А что с ним?

— Ты его берёшь?

— Миш. Я еду в другой город. Как я поеду без телефона?

Мишка сел на мамин стул, подтянул к себе тарелку с сырниками и одарил сестру тем взглядом, которым двенадцатилетние смотрят на взрослых, когда взрослые не понимают элементарных вещей.

— Шлиссельбург – это область, – рассудил он. – Туда автобус ходит.

— Логично. Значит, за кольцевой связь не нужна.

— Тебе там будет некогда. А у меня в «Сабвее» уровень не пройден.

Она убрала телефон в сумку. Мишка проводил его глазами, как провожают уходящий поезд.

Сумка у неё была холщовая, через плечо, с вышитой лисой; лису подарила Ленка на двадцатилетие. В сумке лежало всё, что она брала с собой на целый день: паспорт, карта, немного наличных, ключи с брелоком-совой, наушники, помада, солнечные очки, пачка салфеток. Подумав, Дарья сунула туда же булку, оставшуюся со вчерашнего дня. На острове, она помнила, кафе не было.

Она уже завязывала в прихожей кеды, в джинсовой куртке поверх лёгкого платья, когда Мишка выглянул из кухни с сырником в руке.

— Ты когда домой?

— К вечеру.

— А если там останешься?

Он спросил это без всякой задней мысли: так дети спрашивают, что будет, если кошка съест цветок. Дарья выпрямилась, закинула сумку на плечо и сделала серьёзное лицо.

— Если я не вернусь, телефон твой, — сказала она. — За вещаю.

Мишка подумал.

— А зарядку?

— Забирай с полки. Только папу не буди.

Она закрыла за собой дверь, и последнее, что слышала в квартире, было шлёпанье Мишкиных пяток обратно на кухню, к сырникам. На лестнице пахло кошками и чьими-то пирогами. Она сбегала вниз через ступеньку, толкнула тяжёлую дверь парадной и вышла во двор, где такса всё-таки со-

гласилась гулять и теперь тянула хозяйку к мусорным бакам с таким видом, словно там её ждали.

II

Улица Дыбенко – Шлиссельбург. 8 июня 2014 года.

До «Петроградской» она дошла пешком, мимо булочной, где по воскресеньям продавали ватрушки размером с тарелку, мимо шавермы «У Ашота», у которой дежурил тот же человек, что и всегда, в любой сезон и в любой час, и курил, глядя в небо.

Июнь в Петербурге в тот год выдался холодный. По телевизору говорили про аномалию, но петербуржцы знали, что аномалией было бы как раз тепло. Дарья подняла воротник куртки и спустилась в метро.

В метро она любила читать людей. Привычка переводчика: сначала слышишь человека, потом его слова. В вагоне до «Сенной» напротив неё сидела пожилая пара с берёзовыми ветками, совсем как мамыны, и муж держал ветки бережно, как букет на свадьбу внучки. Двое туристов из Мюнхена спорили, правильно ли они едут, и Дарья с полминуты боролась с собой, а потом наклонилась и сказала по-немецки, что им нужна следующая.

Туристы обрадовались ей, как местной святой. Один спросил, где она так выучила язык, что говорит почти без акцента. Дарья ответила, что у неё бабушка из Баварии, и это была неправда. Бабушка у неё была из Тихвина. Но про Тихвин пришлось бы объяснять, а про Баварию они всё поняли

сами и были счастливы. «Вот и перевод: иногда это просто умение выбрать ответ, на котором человек успокоится».

На «Сенной» она перешла на «Спасскую», и дальше поезд долго шёл под Невой, и пошли станции правого берега, где перроны были просторнее, а люди проще. На «Улице Дыбенко» она поднялась наверх и сразу почувствовала ветер. Здесь он был другой: не каменный, как в центре, а с пустырей и с реки, широкий.

Автобус пятьсот семьдесят пятого маршрута ждал у остановки, уже почти полный. Дарья втиснулась в середину, нашла место у окна над колесом, где ноги приходилось держать как в позе лотоса, и включила музыку. План «без наушников хотя бы час» начинался, по её расчётам, с острова.

За окном город заканчивался: высотки, гипермаркеты, склады, сосны, коттеджи за профнастилом, и вдруг блеснула Нева, не городская, в граните, а настоящая, с низкими берегами и ивами, с ржавой баржей, на которой сушилось бельё. Дарья выключила музыку.

В Шлиссельбурге автобус остановился на маленькой площади, которую здесь называли Красной, и половина пассажиров вышла вместе с ней. Площадь была чистенькая, провинциальная: собор с колокольной, весь бело-жёлтый, умытый; бронзовый Пётр на постаменте, указывающий рукой куда-то за реку; ларёк с мороженым, скамейки, голуби. Пётр, по всему было видно, только что дал указание и теперь ждал, когда его выполнят. Знакомое выражение: точно так буду-

щая начальница ждала её ответа на собеседовании.

За площадью тянулся канал, узкий, прямой, с каменными стенками, с мостиком, с лодками у берега. Пахло водой и тиной. На доске у пристани висело расписание катеров на крепость, и у кассы уже выстроилась очередь: семья с мальчиком, у которого в руках был игрушечный меч; две женщины в одинаковых панاماх; группа с экскурсоводом, молодым человеком в очках, державшим над головой сложенный зонтик как знамя.

— Орешек, — говорил экскурсовод своим, пока они ждали, — это, если хотите, самая упрямая крепость в России. Её брали, отдавали, снова брали. В войну, в сорок первом, немцы стояли вот здесь, в городе, где мы с вами стоим, в нескольких сотнях метров от неё, и пятьсот дней не могли её взять. Гарнизон держался. Там, в руинах собора, сейчас мемориал. Сами увидите.

Дарья купила билет на катер и отошла к краю причала. Вода в канале была тёмная, почти чёрная, и в ней отражались облака. Она вдруг вспомнила мамино «не лезь к воде» и усмехнулась. Мама и сюда, на причал, не подошла бы ближе двух метров.

Катер оказался маленьким, бело-синим, с открытой палубой и скамейками вдоль бортов. Он отвалил от причала, прошёл по каналу, вышел на простор, и Дарья ахнула про себя.

Впереди было озеро. Ладога лежала до самого горизонта, серая, в мелкой волне, и горизонт этот был не прямой лини-

ей, а дымкой, где вода незаметно становилась небом. Слева широко и сильно уходила Нева: здесь, у истока, она текла так быстро, что было видно, как струи завиваются у буёв. А посреди этого простора, на маленьком острове, прямо из воды поднимались стены. Не за берегом, не на холме: стены начинались там, где заканчивалась вода. Серые, тяжёлые, с круглыми башнями.

— Как будто её поставили на воду, — сказала одна из женщин в панаме.

— Почти так и есть, — отозвался экскурсовод. — Остров маленький, стены идут по самому краю.

Катер шёл к острову против ветра, и брызги долетали до палубы. Дарья достала телефон и сфотографировала крепость с воды. Получилось как в интернете. Мама была бы недовольна.

III

Крепость Орешек. 8 июня 2014 года, около трёх часов дня.

На остров входили через Государеву башню. Ворота у неё были не прямые: вошёл, а там крутой поворот, и снова проход. Экскурсовод объяснял, что так строили нарочно, чтобы враг не мог разогнаться тараном. У петербургских дворов, решила Дарья, тот же принцип: войдёшь в арку, а там ещё арка, а там третий двор, и вот ты уже стоишь у мусорных баков и не помнишь, зачем пришёл.

Внутри крепость оказалась одновременно больше и мень-

ше, чем она ожидала. Больше, потому что стены вблизи были такие толстые, что по верху могла бы проехать машина. Меньше, потому что всё, что за ними, можно было обойти минут за двадцать: трава, дорожки из гравия, руины, несколько уцелевших зданий из старого кирпича, и ветер, который гулял по всему этому свободно, как хозяин.

Руины собора были самым страшным местом. От него остались стены без крыши, с пустыми окнами, иссечённые осколками так, словно камень болел оспой. Внутри, среди этих стен, поднимался памятник: солдаты с суровыми лицами, бронза, венки. Люди здесь говорили тише. Мальчик с мечом спрятал меч под футболку.

Дарья постояла у мемориала, потом поднялась на стену по крутой деревянной лестнице и там, наверху, впервые за день почувствовала то, ради чего приехала. Ветер был такой, что пришлось держать волосы рукой. Ладога лежала внизу вся, до горизонта; на другом берегу Невы белел посёлок; где-то далеко, почти у дымки, шла баржа, и казалось, что она стоит. Никого рядом не было. Туристы остались внизу. Дарья стояла одна на стене, которой было почти семьсот лет, и ни о чём не думала. Это было прекрасно.

Вскоре она вспомнила, что обещала маме «что-нибудь интересное», и думать пришлось.

Есть люди, которые читают таблички до конца. Они останавливаются у каждой, надевают очки, шевелят губами, и экскурсия уходит без них, а они догоняют её потом, счастли-

вые, с новыми датами в голове. И есть люди, которые читают первую строку и решают, что поняли остальное. Дарья всю жизнь считала себя первым типом и всю жизнь была вторым. Это был её тайный недостаток, о котором знала только мама. Мама говорила: «Ты умная, но ты быстрая. Это разные вещи».

В старом кирпичном здании у стены была экспозиция. Над входом висела табличка «Старая тюрьма», внутри было прохладно, пахло сырой штукатуркой, и по коридору с низким потолком шли одинаковые двери камер. В камерах были железные койки, столики, привинченные к стене, и всё было таким маленьким, что Дарья, войдя в одну, невольно втянула голову в плечи. Шаги здесь звучали громче, чем нужно. На стенах висели стенды: фотографии узников, портреты в овалах, бородатые лица, молодые лица, номера.

Один стенд стоял отдельно, у окна. Над ним было крупно написано:

БЕЗЫМЯННЫЙ УЗНИК

Она остановилась: слово «безымянный» показалось ей самым грустным словом в этом коридоре. Под заголовком висела репродукция картины, тёмной, старой: молодой офицер в зелёном мундире стоял над телом человека в белой рубашке, лежавшего на полу; вокруг были солдаты со штыками и огонь факела. Офицер смотрел не на тело, а куда-то в сторону, и лицо у него было такое, словно он только что понял что-то, чего не хотел понимать. Ниже шёл текст. Дарья нача-

ла читать его по привычке переводчика: сразу целиком, глазами, не задерживаясь на запятых.

Иоанн VI Антонович (1740–1764) был провозглашён императором двухмесячным младенцем и свергнут в ноябре 1741 года, когда на престол взошла Елизавета Петровна. Всю дальнейшую жизнь он провёл в заключении. С 1756 года его содержали в Шлиссельбургской крепости в полной тайне: в документах его называли «известным арестантом», охрана не имела права произносить его имя.

По секретной инструкции приставам предписывалось при попытке освобождения «арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать».

Летом 1764 года подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Мирович, 24 лет, несший караул в крепости, поднял солдат гарнизона, чтобы освободить узника и провозгласить его императором. Его сообщник, поручик Аполлон Ушаков, незадолго до этого утонул. Когда солдаты Мировича подошли к казарме узника, приставы исполнили инструкцию. Увидев тело, Мирович сдался.

15 сентября 1764 года он был казнён в Петербурге.

Она прочла и почувствовала, как по спине прошёл холодок. Не от слова «казнён»: в этом коридоре все были или казнены, или замучены, и к этому привыкаешь за десять минут, как к холоду в погребу. Холодок пошёл от другого. «Живого никому его в руки не отдавать». Какая аккуратная, канцелярская фраза. Её кто-то сочинил за столом, обмакнул перо,

посыпал песком и подписал. И кто-то её исполнил.

Дарья поймала себя на том, что ищет в тексте, сколько лет было узнику. Двадцать три. Она вычла в уме. И подпоручику – двадцать четыре. На три года старше её. Она снова нашла глазами офицера на картине: наверное, это и был подпоручик. Он был нарисован человеком девятнадцатого века, который никогда его не видел, и всё равно в его лице было что-то живое, неприятно живое: растерянность того, кто рассчитывал на одно, а получил другое.

«Пятнадцатое сентября, – подумала она. – У Мишки день рождения». Эта мысль была глупая и неуместная, и именно поэтому Дарья поняла, что дату теперь не забудет.

По коридору прошла группа с экскурсоводом в очках. Он говорил на ходу, не останавливаясь у её стенда:

— ...а вот здесь история совсем тёмная, секретный узник, ребёнок-император, о нём даже охрана не знала, кто он. Во дворе расскажу, тут тесно...

Группа ушла. Мальчик с мечом обернулся на неё у самой двери, посмотрел на картину и сказал маме громким шёпотом:

— А почему он его убил?

— Это не он, – ответила мама. – Пойдём.

Дарья осталась у стенда одна. «А кто тогда?» Вопрос был детский и правильный, и ответа на стенде не было.

Она достала телефон и сфотографировала стенд целиком, вместе с картиной и мелкими строчками в самом низу, где

музеи пишут, что изображено, чья это копия и из каких фондов. Такие строчки Дарья не читала никогда, ни в одном музее. Проверила снимок. Мама просила что-нибудь интересное. Это было даже слишком интересное для мамы с берёзовыми ветками, и Дарья решила, что отправит вечером, из дома, с объяснением. Такое не посылают одной картинкой без слов.

Когда она вышла из «Старой тюрьмы», солнце ударило в глаза, и от этого коридор за спиной показался ещё темнее. Часы на телефоне показывали без двадцати четыре. Обратный катер, она помнила по расписанию, был в пять с чем-то, а последний – в семь. Времени было много.

Мама написала эсэмэской: интернет на острове не ловил, связь держалась в одну палочку. «Ты как? Доехала? Сфотографируй собор, если будет». Дарья ответила: «Доехала. Тут ветер и семьсот лет. Собор есть, но без крыши, долго объяснять. Целую». И добавила смайлик с волной, потом стёрла волну. Мама увидит в волне угрозу.

IV

Ореховый остров, у северной стены. 8 июня 2014 года, около четырёх часов дня.

Снаружи, вдоль стены, к воде шла тропинка. Её не было на схеме у входа, но люди её протоптали: по узкой полосе камней и травы между стеной и озером можно было пройти от пристани в сторону северных башен. Сначала полоса была широкой, с лавочкой, с урной, с рыбаком, который забрёл

по колено в высоких сапогах и смотрел на поплавок с выражением человека, давно простившего рыбу. Дальше полоса сузилась, камни стали крупнее, и трава исчезла.

Здесь стена росла прямо из воды. Нижние камни были тёмные, мокрые, в зелёной бахrome водорослей, и волна, набегая с Ладоги, облизывала их с влажным хлюпаньем, отступала и набегала снова. Дарья шла, глядя под ноги. Ветер с озера был холодный, сырой, но солнце грело плечи сквозь куртку, и ей было хорошо.

Она думала о маминой задаче. «Что-нибудь такое, чего там нет». Чего здесь нет? Вида изнутри стены – есть, в интернете. С воды – есть. Со стены на воду – тоже есть, тысяча штук. А вот если снять стену от самой воды, снизу, так, чтобы камни уходили в небо, а внизу была волна...

Тропинка упёрлась в ограждение. Это была низкая металлическая сетка на столбиках, натянутая от стены к большому валуну у самой воды, а на сетке висела табличка: «Осторожно! Обрушение кладки. Проход запрещён». Табличка была старая, одно крепление у неё оторвалось, и она висела косо, как шляпа у подвыпившего.

Дарья перевела взгляд с таблички на камни за ней.

За сеткой камни шли дальше вдоль стены ещё метров пятнадцать, до того места, где в стене, у самой воды, темнела низкая арка. Она была почти не видна: свод её поднимался над водой не выше чем на полметра, а дальше уходил вниз, под волну. Что это было, водосток, старый вход для лодок

или просто провал в кладке, сказать было нельзя. Но кадр был такой, что у Дарьи перехватило дыхание. Тёмный зев под огромной серой стеной, вода, уходящая в камень. Это было то самое «чего здесь нет».

За сеткой люди ходили: во мху между камнями тянулась тропка, а у самой воды кто-то забыл пластмассовое ведёрко рыбака, синее, с треснувшей ручкой. Дарья прикинула. Пятнадцать метров. Камни сверху сухие. Обрушение кладки? Кладка стояла семьсот лет и, наверное, простоит ещё три минуты. Про воду на табличке не было ни слова, а вода была внизу и вела себя тихо. Она была выпускницей филологического факультета, в четверг получила «отлично» за работу о переводе метафор у Рильке, у неё было приглашение в бюро и устойчивые кеды. Она перешагнула через сетку.

Камни за ограждением были скользкие. Это стало ясно на втором шаге, когда правая нога поехала, и Дарья схватилась рукой за стену. Стена была холодная и шершавая, и от этого стало спокойнее: держишься за стену – не упадёшь. Она двинулась дальше, боком, придерживаясь за камень, и через минуту стояла почти над аркой, на плоском валуне, о который с чмоканьем разбивалась волна.

Отсюда арка была видна целиком. Свод был сложен из клиновидных камней, позеленевших, как старая бронза. Под сводом было темно, и из темноты, ей показалось, тянуло холодом: не тем, сырым озёрным холодом, к которому она уже привыкла, а другим, глубинным, каким тянет из погреба в

жаркий день. Вода у арки вела себя странно. Волна шла с озера, а у самого входа под свод вода стояла почти неподвижно, гладкая, как стекло, и только в глубине медленно поворачивалась, словно там, под камнем, кто-то большой вздыхал во сне.

Дарья достала телефон. Часы показывали 16:09. Она присела на корточки, чтобы поймать свод на фоне неба, и вытянула руку с телефоном над водой.

Первый кадр получился смазанный. Она наклонилась ниже. На экране арка вышла чёрной дырой, а стена над ней уходила вверх, в синее, огромная, тяжёлая, и в этом было что-то такое, от чего мама сказала бы «ой». Отлично. Ещё один, для верности, чуть ниже, чтобы в кадр попала вода под сводом... Готово. Хватит. Она сунула телефон в сумку, на ощупь потянула молнию и выпрямилась.

Кеда съехала по водорослям так мягко, что Дарья сначала даже не испугалась. Она просто почувствовала, что валун уходит из-под неё вбок, а стена, за которую она в эту секунду не держалась (рука ещё была на молнии), оказывается где-то сзади и выше. Потом был холод.

Ладожская вода в начале июня не бывает теплее десяти градусов. Дарья где-то об этом читала, но знать и почувствовать оказалось разными вещами. Холод ударил сразу во всё тело, вышиб из груди воздух, и вместо крика у неё вышел короткий хрип. Она ушла под воду с головой, вынырнула, глотнула воздуха пополам с водой и поняла, что её несёт.

Её несло не от стены, а к ней. Туда, под свод.

Она забилась, пытаясь развернуться к валуну. Руки скребли по воде, джинсовая куртка набрякла и тянула вниз, сумку подняло водой, и ремень, шедший через грудь, сполз к самой шее. Валун был в двух метрах, потом в трёх. Вода у арки, которая сверху казалась неподвижной, на деле шла под камень сильно и ровно, как идёт вода в слив ванны, только этой ванной было всё Ладожское озеро.

«Не лезь к воде», – сказала мама у неё в голове, и это было так нелепо, что Дарья чуть не засмеялась прямо в воду.

Свод прошёл над головой. Она ударилась плечом о камень, и в ту же секунду её затянуло вниз, под стену.

Темнота была полная. Не та темнота, к которой привыкают глаза, а та, которой привыкать некуда. Дарья вытянула руки и нащупала камень слева, камень справа, камень сверху: проход был узкий, такой узкий, что она касалась стен локтями. Вода тащила её вперёд, и она не сопротивлялась, потому что сопротивляться было нечем. Воздуха не было. Она держала в груди последний глоток, и с каждой секундой он становился горячее, тяжелее, как расплавленный свинец.

Правая кеда зацепилась за что-то и слетела с ноги. Это было странно: такая мелочь, а Дарья почувствовала её отчётливо, голой ступнёй, холодом между пальцами. «Новые же кеды». Мысль пришла очень ясная, совершенно спокойная и очень глупая.

Проход сжался ещё сильнее. Камень прошёл по спине, по

затылку; что-то рвануло ремень сумки, но сумка удержалась, ремень только врезался в шею. Перед глазами поплыли красные круги, потом зелёные. Она поняла, что сейчас вдохнёт, не сможет не вдохнуть, и что вдохнёт она воду.

Она подумала о Мишке, который сейчас, наверное, клеит в альбом бельгийцев. О папе, который проснётся к обеду и спросит, где все. О маме с берёзовыми ветками. «Если я не вернусь, телефон твой». Боже, какая же она дура.

И в этот момент стены разошлись.

Вода вытолкнула её вверх сразу, рывком, как пробку. Дарья вылетела на поверхность, ударилась ладонями о камень, ничего не видя, вцепилась в него, и воздух ворвался в неё с таким звуком, с каким рвётся мокрая ткань. Она дышала, кашляла, плевалась водой и снова дышала. Мир был ослепительно белым, потом серым, потом зелёным, и только через минуту в нём проступили очертания: камень под руками, тёмная стена над головой, свет.

Она лежала грудью на плоском валуне у подножия стены, по пояс в воде, и её трясло так, что стучали зубы. Сумка была на ней, ремень через шею, и сквозь мокрую ткань прощупывался телефон. Правая нога была босая. Левая куда держалась.

Где-то над ней, за стеной, стучали молотки по камню, мерно, неторопливо, как стучат на стройке. Кричала чайка. Плескалась у валуна вода.

И всё.

Дарья подняла голову и прислушалась, ещё не понимая, к чему. На Ладоге, у Шлиссельбурга, в воскресенье в июне, в четыре часа дня всегда что-нибудь гудит: катер, моторка, буксир на Неве, фура на трассе, вертолёт над озером, музыка из чьей-то машины на берегу. Шум мотора – это фон, которого не слышишь, пока он есть.

Сейчас его не было.

В этой тишине не было ни одного мотора.

Глава вторая. Пятница



I

Ореховый остров. 28 мая 1764 года, пятница.

Первым делом она проверила, жива ли.

Это оказалось просто: живому холодно, мёртвому нет. Ей было так холодно, что ломило зубы, а пальцы на камне побелели и не разгибались. Значит, жива. Вторым делом она проверила сумку. Сумка висела на ремне, тяжёлая, как мешок с песком, и из неё текло. Дарья нащупала сквозь ткань

прямоугольник телефона, расстегнула молнию трясущимися пальцами и вытащила его.

Экран был чёрный. Она нажала кнопку. Поддержала. Нажала ещё раз, сильнее, хотя сила тут ничего не решала.

Ничего.

«Утопила айфон, – сказала она себе почти с облегчением, потому что это была понятная, человеческая беда. – Мама будет говорить, что я не лезу к воде, а вода сама лезет ко мне. Гарантия на утопление не распространяется». Она сушила телефон обратно и только тогда огляделась.

Она лежала не у арки.

Это было первое, что не сходилось, и Дарья заметила это сразу, как замечают на знакомой фотографии лишний предмет. Арки за спиной не было. Позади была ровная серая кладка, уходившая в воду, без всякого провала. Камень, на котором она лежала, оказался не валуном, а краем большой кучи тёсаных глыб, сложенных у стены прямо на берегу. Глыбы были свежие, светлые, с острыми гранями, и между ними набилась каменная крошка. Рядом, у воды, на кольях лежал настил из брёвен, и к нему была причалена широкая плоскодонная лодка, гружённая такими же глыбами.

«Течением отнесло, – решила она. – Я проплыла под стеной и вылезла с другой стороны. Это пристань, просто служебная».

Объяснение было хорошее. Она уцепилась за него и попробовала встать.

Ноги не держали. Она села на камень, обхватила колени, и её затрясло ещё сильнее, крупно, всем телом, с подвыванием в горле, которое она никак не могла остановить. Мокрое платье облепило ноги. Джинсовая куртка весила, наверное, килограммов пять. Правая ступня, босая, была вся в мелких порезах от камня, и из одного шла кровь, яркая и неожиданно тёплая.

Над головой стучали.

Она подняла голову. Стена здесь была ниже, чем у арки, и сверху на неё опирались леса: жерди, связанные верёвками, дощатые мостки, лестница. На мостках работали люди. Пятеро или шестеро, в рубахах навывпуск, подпоясанных верёвками, кто в шапке, кто простоволосый, с бородами. Один тесал камень, другой подавал раствор в деревянной бадье на верёвке, третий ругался на второго длинно и с выдумкой. Ругань доносилась до неё обрывками, и в ней не было ни одного знакомого матерного слова. Это почему-то поразило её больше всего.

«Реставрация, – решила Дарья. – Они реставрируют стену. Нанимают бригаду откуда-нибудь из области, а там мужики с бородами, нормально. А ругаются они... художественно».

Она поискала глазами туристов. Туристов не было.

Не было лавочки. Не было урны. Не было рыбака в высоких сапогах. Не было сетки с табличкой про обрушение кладки, не было катера у пристани, не было самой приста-

ни с синим навесом. Был настил из брёвен, лодка с камнем и запах, которого она поначалу не замечала: дёготь, мокрое дерево, дым откуда-то из-за стены и сильный, тёплый, деревенский запах навоза.

Она перевела взгляд через протоку, на левый берег, туда, где должен был стоять город.

Город стоял. Но это был не тот город.

Не было бело-жёлтого собора с колокольной. Не было высоких домов. Вдоль берега тянулись низкие серые постройки, деревянные, с тёмными крышами, сараи, заборы, лодки, вытасненные на песок, и чуть дальше, над крышами, торчали мачты. Где-то поднимался дым. Где-то лаяла собака. Было очень тихо, и в этой тишине не гудело ни одного мотора.

«Не тот берег, – поправила себя Дарья. – Я смотрю на правый. Там посёлок, там всегда было... меньше».

Но правый берег лежал в другой стороне, за широкой, быстрой Невой, и там поднимался лес. Сплошной, тёмный, до самой воды. Ни посёлка, ни труб.

Взгляд у неё метался от одного берега к другому, и она чувствовала, как у неё внутри, где-то под рёбрами, медленно поворачивается что-то очень большое и очень холодное. Такое бывает во сне, когда понимаешь, что опоздала на экзамен и что экзамен – это не экзамен.

Сверху что-то упало и покатилося по камням: кусок раствора. Дарья вздрогнула и подняла голову. Один из каменщиков, молодой, рыжий, лёг животом на мостки и разинул на

неё рот. Он что-то крикнул товарищам, и все шестеро бросили работу и уставились вниз.

Ей стало стыдно, как бывает стыдно во сне, когда оказываешься на улице без одежды. Она натянула мокрое платье на колени. «Это фестиваль, – сказала она себе в третий раз, уже из последних сил. – Исторический. Ленка ездила сюда со своими на какой-то, со шведами. Они живут тут в палатках неделю, ходят в костюмах, едят из котелков. И тесать камень для достоверности тоже, наверное, можно. Это ролевики».

Объяснение было глупое, но тёплое. Она держалась за него, пока из-за кучи камней не вышел солдат.

II

Там же. Около половины пятого пополудни.

Он был совсем мальчишка. Лет девятнадцать, не больше: тонкая шея, торчащая из воротника, светлый пух над губой, уши, которые краснели на глазах. На нём был зелёный кафтан, длинный, ниже колен, и красный камзол под ним, чёрные штиблеты, тупоносые башмаки. Волосы были зачёсаны назад и заплетены в косичку, а над ушами завиты в два валика, и всё это было густо обсыпано чем-то белым. «Мукой», – догадалась Дарья. На плече он держал ружьё, длинное, с примкнутым штыком, и держал его как-то неправильно, как держат вещь, которая может укусить.

Увидев её, солдат остановился, словно наткнулся на стену. Лицо у него побелело. Он перекрестился, быстро, три раза подряд, и попятился.

— Свят, свят, — зашептал он.

— Пожалуйста, — попросила Дарья. Голос у неё был хриплый, чужой. — Помогите. Я упала в воду.

Солдат замер. Он смотрел на её голые колени, потом на босую ногу, потом на мокрые волосы, облепившие плечи, и с каждым взглядом пугался ещё больше.

— Ты чья? — спросил он, не опуская ружья.

— В каком смысле? Я туристка. Я упала с камней, там, у арки, меня затянуло... Где здесь медпункт? Или охрана? Позовите кого-нибудь из администрации, пожалуйста.

Солдат слушал её так, как слушают иностранца, который говорит медленно и громко. Половину слов он, кажется, не понял, а вторую половину понял неправильно. Он сделал ещё шаг назад и упёрся спиной в кучу камней.

— Из воды вылезла, — забормотал он, обращаясь уже не к ней, а куда-то в сторону, к стене, к каменщикам, к Богу. — Голая. Из Невы. Робяты, ей-богу, сама вылезла!

Наверху кто-то захохотал. Кто-то перекрестился. Рыжий каменщик свесился с мостков ещё ниже, и его едва успели ухватить за пояс.

— Я с сумкой, — возразила Дарья. Ей было так холодно, что даже возмутиться как следует не получилось. — Вы видели где-нибудь нечисть с сумкой?

Довод был убийственный. Солдат перевёл глаза на сумку, на вышитую на ней лису, и, кажется, окончательно уверился, что дело нечисто. Он повернулся и побежал по настилу,

грохоча башмаками по брёвнам, и на бегу закричал тонким, ломающимся голосом:

— Ваше благородие! Ваше благородие, господин подпоручик!

Дарья осталась одна.

Она не знала потом, почему сделала то, что сделала. Ничего не было решено и ничего не было понятно, но руки сами расстегнули сумку и нашарили в мокром нутре маленькую книжечку в обложке. Паспорт. Красный, с золотым гербом, раскисший по краям. Дарья не стала его рассматривать. Она засунула его в нагрудный карман джинсовой куртки и застегнула кнопку. В другой карман пошли карта и мокрый комок купюр. Телефон, подумав, она положила за пазуху, под платье, куда-то между рёбрами и лифчиком, и он лёг там холодно и плоско, как лягушка.

Ей было бы трудно объяснить, зачем. Наверное, так прячут документы в чужой стране, где у полицейских слишком длинные ружья. А может быть, это был тот самый холод под рёбрами, который понял раньше неё.

По настилу затопали двое. Она услышала голос раньше, чем увидела человека: молодой, резкий, сердитый.

— ...и где она?

— Вона, ваше благородие. На камнях. Сидит.

— А откуда взялась?

— Не можем знать. Из воды.

Шаги остановились.

— Ты где стоял?

Солдат ответил что-то неразборчиво.

Из-за кучи камней вышел офицер.

Он был невысокий, ростом едва ли выше её самой, худой, загорелый так, как загорают не на пляже, а на работе, до тёмной кирпичной красноты на шее и скулах. Нос у него когда-то был сломан и сросся чуть вбок. Кафтан на нём был такой же зелёный, как у солдата, но лучше, из сукна потоньше, хотя и потёртый на локтях до блеска; камзол красный; на боку висела шпага в чёрных ножнах; на голове чёрная треугольная шляпа. И весь он, от шляпы до башмаков, был серый от каменной пыли, хоть сейчас из-под обвала. Пыль лежала на плечах, на обшлагах, даже на ресницах. Он был мокрый по колено: видно, бежал по воде вдоль берега.

Он остановился в трёх шагах и окинул её взглядом. Взгляд был быстрый, неприятный, весь по делу: голые колени, босая ступня в крови, сумка, мокрые волосы, лицо. Затем взгляд ушёл к стене у неё за спиной, к воде, к куче камней, к лодке у настила, и Дарья увидела, что он считает. Что именно, она не поняла. Но что-то он считал, быстро, как кассир, и итог ему не нравился.

— Сударыня, – сказал он. – Кто вы такая и как вы здесь очутились?

Сказал он это вежливо и сухо, как говорят в присутственном месте, и голос у него был совсем другой, чем минуту назад с солдатом: ровный, без единой ноты. Каменщики на-

верху притихли.

— Я упала в воду, – сказала Дарья. Ей хотелось говорить спокойно и разумно, чтобы этот сердитый ролевик понял, что ей не до игр. – Там, у арки. Возле северной башни. Меня затащило под стену течением, я не знаю как. Я вынырнула вот тут. Мне нужно на катер. У меня билет.

Она полезла в сумку за билетом, нашла его и вытащила. Билет превратился в серую кашу и развалился у неё на ладони на три части. Офицер посмотрел на кашу. Дарья тоже.

— Был билет, – призналась она.

Что-то дрогнуло у него в лице: ещё не улыбка, но что-то около рта, что он тут же убрал.

— Это на чём же, сударыня? – Он снова оглядел её всю. – Чьё судно?

— Обычное. Туристическое. Бело-синий катер, он ходит от Шлиссельбурга. Я на нём приплыла два часа назад.

— Отсюда до города бежит одна гарнизонная лодка, и сегодня она возила не гуляющих, а кирпич.

Он смерил её взглядом ещё раз, теперь медленнее, и что-то для себя решил.

— Вы говорите по-русски не по-здешнему. Вы немка?

И, не дожидаясь ответа, вдруг спросил по-немецки, с чудовищным произношением, с мягким «л» и с ударениями не туда, но вполне понятно:

— Sind Sie eine Deutsche? Woher kommen Sie?

Она ответила раньше, чем подумала. Так отвечают на вопрос «который час» на родном языке.

— Ich bin aus Sankt Petersburg. Ich bin ins Wasser gefallen, ich brauche Hilfe, verstehen Sie das? Ich brauche einen Arzt, oder wenigstens trockene Kleider...

Она говорила быстро и сама слышала, как гладко у неё выходит: сказывались четыре года университета, полгода стажировки во Франкфурте и привычка, которую на кафедре называли «немецким мотором». Офицер слушал, наклонив голову, с таким усилием, словно разбирал почерк. На «Sankt Petersburg» он чуть поднял брови. На «Arzt» кивнул. Дальше, кажется, перестал успевать.

— Довольно, – перебил он по-русски. – Немка. Это хорошо. Это хоть что-то.

Дарья не поняла, почему это хорошо. Но спорить не стала. Наверху опять засмеялись, и он, не оборачиваясь, бросил через плечо:

— Работы нет? Фомин! Кто там гогочет? Перешибу. Смех стих мгновенно, словно его отрезали. Застучал молоток, потом второй.

Офицер повернулся к солдату:
— Лапин. Епанчу.

Солдат не понял. Офицер глянул на него, и он понял: суетливо снял длинный суконный плащ, висевший у него свёрнутым через плечо, и подал. Офицер встряхнул плащ, шагнул к Дарье и, не глядя ей в лицо, набросил его ей на плечи.

— Прикройтесь, сударыня. У нас тут, видите ли, крепость, а не купальня. — Он отряхнул ладони от пыли, оглядел свои рукава и вздохнул. — Понимаю, что по мне не скажешь.

Плащ пах дымом, потом и овчиной. Он был колючий, тяжёлый и до того тёплый, что у Дарьи защипало в глазах. Она закуталась в него вся, с головой, и сидела на камне, как в палатке, и стучала зубами, и сквозь стук зубов думала, что для ролевика он слишком хорошо играет усталость.

III

Там же. Около пяти часов пополудни.

Дальше всё складывалось из мелочей. Ни одна из них по отдельности ничего не доказывала, и каждую можно было объяснить. Дарья и объясняла. Но мелочи шли одна за другой, без перерыва, и объяснения заканчивались быстрее, чем мелочи.

Офицер велел ей встать. Она встала, держась за камень. Он подал ей руку, и рука у него оказалась шершавая, с мозолью на ладони у основания пальцев, какая бывает от рукояти или от весла, и тёплая, несмотря на всё. Ногти были обломанные и тёмные от пыли. «У ролевиков не бывает таких рук», — подумала она и тут же возразила себе: а у реставраторов бывают.

Солдат топтался рядом, с ружьём. Дарья скосила глаза на штык. Штык был длинный, трёхгранный, с бурыми пятнами ржавчины у основания, и на нём сидела муха и чистила лапки. Это почему-то было хуже всего: никто не станет делать

бутафорский штык с настоящей ржавчиной, на которую садятся мухи.

— Где у вас телефон? – спросила Дарья. Её голос звучал жалобно, и ей это не нравилось. – Мой утонул. Мне нужно позвонить маме. Она будет волноваться.

Офицер ответил внимательным, почти участливым взглядом.

— Что вам угодно, сударыня?

— Позвонить. По телефону.

— Я разобрал слово «маме», – признался он. – Остального не понял. Ваша матушка здесь? В городе?

— В Петербурге.

Он вздохнул.

— Сударыня, туда полсотни с лишком вёрст, и сегодня никто не едет. Если угодно, можно написать письмо. Письмо дойдёт.

Он сказал «вёрст», и сказал это так обыкновенно, как говорят «километров». Дарья хотела засмеяться и не смогла.

— Кто вы? – спросила она. – Вы... это какая-то игра? Скажите честно, я не обижусь. Вы реконструкторы? Тут фестиваль? Я понимаю, что я испортила вам сцену, но мне правда плохо, и я хочу домой. Позовите вашего главного. Пусть кто-нибудь позвонит в музей.

Офицер выслушал её до конца, не перебивая. Пока она говорила, лицо у него менялось: сначала он хмурился, потом что-то прикидывал, потом в глазах у него появилась осто-

рожность, какая появляется у людей, когда они понимают, что разговаривают с больным.

— Вы, верно, про кунсткамеру? Кунсткамера, сударыня, в Петербурге, на Васильевском острове, там уроды в банках. А здесь крепость её императорского величества. Шлиссельбург. И распоряжается здесь, коли вам угодно знать, господин комендант, только звать его к вам я не стану. Я сведу вас к нему сам.

Кунсткамера. Петровская, с уродцами в банках. На практике она водила туда немецкую группу, и немцы фотографировали заспиртованных младенцев. Дарья сжала край плаща так, что заболели пальцы. Выговорить она ничего не смогла, только смотрела на него, и он, видно, понял её взгляд по-своему.

— Государыни императрицы Екатерины Алексеевны, — пояснил он, не удивляясь. — Вы, сударыня, видно, крепко ударились. Это бывает. В воде голову зашибить нехитро.

«Ударилась головой, — с надеждой подумала Дарья. — Да. Вот. Я ударилась головой и лежу сейчас на камнях у арки, и всё это мне кажется. Сейчас меня найдут туристы, вызовут скорую, а я потом расскажу Ленке, какой мне снился подпоручик с мукой в волосах». Это было лучшее объяснение из всех. Оно объясняло всё, кроме одного: во сне не бывает так холодно и так больно. Ступня горела. Плащ кололся. От солдата пахло луком.

Она огляделась ещё раз, по кругу, как в детстве огляды-

валась в лесу, когда понимала, что потерялась.

Стена. Леса. Каменщики. Настил. Лодка с камнем. Левый берег без собора, низкий, деревянный, с мачтами над крышами. Правый берег, весь в лесу. Ладога, серая, до горизонта, и по ней шёл под парусом какой-то тяжёлый корабль с высокой кормой, медленно, как во сне, и парус у него был жёлтый от заплат. Ни одного мотора. Ни одного провода. Ни одной бутылки на берегу, ни одного обрывка полиэтилена в воде, ни одного окурка. Она поняла это не сразу, а когда поняла, у неё закружилась голова. Не бывает на свете берега, где нет ни одного окурка.

— Какой сейчас год? – спросила она.

Солдат перекрестился опять. Офицер нахмурился, как хмурятся при виде человека, который перешёл некоторую черту и теперь уже точно нуждается в лекаре.

— Шестьдесят четвёртый, сударыня, – выговорил он отчётливо, как говорят глухим. – Тысяча семьсот шестьдесят четвёртый от Рождества Христова. Месяц май. А у вас, позвольте узнать, иной счёт?

У неё не было никакого счёта. У неё в голове было пусто и бело, как на экране телефона, когда он ещё включался.

— Нет, – сказала Дарья. – Такой же.

Внутри для этого не нашлось места, и голова ухватилась за самое маленькое, что было рядом: Дарья вспомнила, что так и не отправила маме фотографию стенда. «Вечером, из дома, с объяснением». Теперь это объяснение пришлось бы

писать двести пятьдесят лет.

Офицер повернулся к солдату. Солдат подобрался.

— Лапин. Стой здесь. Глаз не своди. Никого не подпускай.

— Слушаю, ваше благородие.

— Я сейчас ворочусь. Доложу господину коменданту. —

Он сделал два шага, остановился и бросил через плечо, глядя уже не на солдата, а на неё: — Сударыня, сидите смирно. И не бойтесь. Здесь вас никто не обидит, по крайности, покада я в карауле.

Сказал он это не ласково. Сказал так, как говорят о служебном порядке: «по крайности, покада я в карауле». Но Дарья вдруг поняла, что ей важно, как его зовут. Ей нужно было имя: одно, человеческое, за которое можно держаться в этом мире без окурков.

— Подождите, — окликнула она. — А вы кто?

Он обернулся.

— Караульный офицер, — ответил он. — Подпоручик Смоленского пехотного полка Мирович. Василий Яковлевич, ежели вам угодно.

IV

Там же.

Он ушёл, а она осталась сидеть на камне под тяжёлым солдатским плащом.

Солдат Лапин стоял в трёх шагах и не сводил с неё глаз, как ему велели. Время от времени он шевелил губами: молился, должно быть, или повторял про себя то, что скажет

начальству. Каменщики наверху стучали молотками нарочито громко и не смотрели вниз. С Ладоги тянуло холодом. Вода у настила хлюпала о брёвна.

Мирович.

Дарья закрыла глаза и сразу увидела стенд. Он встал у неё перед глазами весь, с заголовком, с тёмной картиной, с ровными строчками крупного текста, и она снова была в холодном коридоре «Старой тюрьмы», у окна, где бликовало стекло. Слово в слово она их не помнила: прочла тогда по своей привычке, разом, не задерживаясь на запятых. Но смысл держался крепко. Подпоручик Смоленского полка Мирович, двадцати четырёх лет, нёс караул в крепости. Поднял солдат гарнизона, чтобы освободить узника.

Летом 1764 года.

Сейчас был май. Шестьдесят четвёртый. Значит, лето ещё не наступило. Значит, ещё ничего не случилось.

Она открыла глаза. Настил был пуст, подпоручик скрылся за кучей камней. На брёвнах остались мокрые следы его башмаков. Следы были самые обыкновенные. Немного косяпаемые: он ставил носок чуть внутрь, как ставят люди, которые в детстве много ездили верхом.

Она попробовала вспомнить картину. Офицер в зелёном мундире над телом человека в белой рубахе. Солдаты со штыками. Факел. Лицо, которое смотрит в сторону. У того, нарисованного, лицо было красивое, бледное, правильное, с романтической печалью девятнадцатого века, которая поло-

жена на картинах всем обречённым. У этого был сломанный нос, загар до кирпичной красноты, каменная пыль на ресницах и усталые, очень быстрые глаза. Они были совсем не похожи. Художник его никогда не видел.

А она видела.

«15 сентября 1764 года он был казнён в Петербурге», – вспомнила Дарья, и строчка эта, которую она прочитала полтора часа назад так легко, глазами, как читают меню, легла ей на грудь тяжело, как мокрая епанча.

Она попыталась сосчитать, сколько ему лет. Двадцать четыре. Он был старше её на три года. Он спешил по брёвнам к коменданту, мокрый по колено, серый от пыли, сердитый, он только что угрожал «перешибить» какого-то Фомина и стеснялся своих рукавов. Он не знал. Он стоял в карауле, считал что-то своё, неприятное, быстрое, ругался с каменщиками и не знал, что через несколько недель...

Она не смогла додумать. Она обнаружила, что смотрит на пустой настил так, как смотрят на дверь, за которой только что скрылся человек, которого увозят в больницу. Это было неправильно. Он был здоров, сердит и очень жив. Это она смотрела на него из музея.

— Барышня, – позвал вдруг солдат Лапин.

Он сказал это так тихо и так неожиданно по-человечески, что Дарья вздрогнула.

— Что?

— Ты это... – Солдат помялся, переступил с ноги на ногу.

Уши у него опять покраснели. — Ты не рассказывай их благородию, что я тебя не углядел, как ты на камни-то вылезла. Я ведь стоял. Я ведь, ей-богу, стоял. Только там наверху Фомин с Кузьмой сцепились, ну, я и поглядел. А когда поглядел обратно, ты уже сидишь.

В глазах у него была такая мольба, что ей стало его жалко сразу, целиком, без всяких мыслей. Он был мальчик. Он боялся не русалки. Он боялся, что его накажут за то, что он поглядел, как дерутся Фомин с Кузьмой.

Она не стала шутить. Шутка вертелась на языке, что-нибудь про русалок, которые не сдают часовых, но Дарья её проглотила. Просто оглядела его тонкую шею в воротнике, муку в волосах, штык, на котором уже не было мухи, и сказала:

— Не бойся. Никому.

Солдат выдохнул. Перекрестился, на этот раз неторопливо, по-хорошему, и отвернулся к воде, словно его отпустили домой.

А Дарья сидела на камне и думала о том, что первое обещание в новом мире она дала солдату, которого не знала, по поводу того, чего не видела. И что, кажется, именно так здесь всё и будет.

Где-то за стеной ударил колокол, коротко, два раза. Потом всё стихло. Ветер нёс с Ладоги запах воды и дыма. Ни одного мотора, ни одного голоса из динамика, ни одной машины на далёком берегу. Только молотки каменщиков и плеск воды

о брёвна.

Летом 1764 года.

Она не помнила, когда именно летом. На стенде было написано «летом».

Она помнила только, чем закончилось. Казнён.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.